

Избранные стихотворения

Серия «Licentia Poetica»

Готфрид Бенн



Избранные стихотворения

«Carte Blanche»
Москва 1994

ISBN 5-900504-04-2
ОЛ6(03)

Издание осуществлено при содействии
INTER NATIONES

ОТ РЕДАКТОРА

«Готфрид Бенн как символ» — так хотелось мне назвать это вступление, добросовестно обокрав Х. Л. Борхеса; у него есть эссе «Валери как символ», в котором он, перечислив величайших поэтов XX века, утверждает, что «ни у одного из этих прославленных мастеров за стихами не стоит личность такого масштаба, как Валери». Это эссе опубликовано в начале 50-х годов, когда Борхес, увы, был давно слеп, и нет уверенности, что он читал зрелого Бенна. Ибо во всей европейской поэзии нашего века трудно найти личность более значительную, чем Бенн. Ни его стихи, ни знаменитые эссе не дают полного представления об этой без преувеличения титанической фигуре.

Он начинал как добротный экспрессионист, по части всевозможных «ужасов» далеко затмевавший своих собратьев по цеху. «Демоны городов» Георга Гейма кажутся невинным чтением для детей по сравнению с «Моргом» Бенна. Едва отойдя от юношеского обожествления Лилиенкрона (последнего романтика немецкой поэзии), молодой Бенн смело ввел в поэзию все то, чем наделила его «гражданская» профессия. А был он врачом-венерологом.

С переводами из раннего Бенна читатель может познакомиться в антологии «Сумерки человечества» (М., 1990). И если бы в начале 20-х годов Бенн не сменил творческой манеры, он, по всей видимости, так

бы и остался одним из экспрессионистов второго ряда. Вот почему в нашей книге мы решили ограничиться лишь некоторыми образчиками первого периода его творчества.

Зрелый Бенн — ультрасимволист. Не в русском и не во французском значении этого слова, а в том смысле, что вся его поэзия построена на словах-символах, словах-ключах: «роза», «кипарис», «мечта», «печаль», «Ниобея», «Гадес». Некоторые такие ключевые слова он почерпнул непосредственно из французского или английского языка.

Мать Бенна была швейцарской француженкой, и когда в 1933 году он вроде бы не отказывался от сотрудничества с нацистским режимом, очень быстро всплыли наружу расовая неполноценность поэта и его экспрессионистски-упадочническое прошлое. В 1937 году ему запретили не только печататься, но даже и практиковать как частному врачу. Бенн удивился, поскольку считал себя хорошим врачом. Ему объяснили, что «попутчики» в светлом будущем нацистам не требуются, особенно такие, кто не участвовал в борьбе за их общенародное дело до 1933 года, и вплоть до самого конца войны Бенн проработал в тыловом госпитале, исцеляя воинов рейха от венерических заболеваний.

По словам одного из американских президентов, рассвет, забрезживший над Европой в 1945 году, был очень хмурым, потому что небо затянули тучи с Востока. Быстро избавленный от подозрений в «сотруд-

ничестве с нацистами» Бенн с той поры оставался в глазах читателей живым классиком и настолько явным антикоммунистом, что даже через 18 лет после его смерти, впервые печатая в антологии «Золотое перо» (1974 г.) перевод Микушевича из Бенна, составитель перестраховался: выкопал у поэта-коммуниста Бехера восемь строчек на смерть Бенна и поместил рядом. Помогло слабо — за все 70-е годы на русском языке появилось только пять стихотворений Бенна. А переводчики 20—30-годов памяти по нему почти не оставили — только два-три стихотворения, да и то напечатанных в Берлине. На страже нравственности советского народа стоял директор ИМЛИ Б. Л. Сучков. Когда составители пятитомной антологии поэзии Европы XIX—XX веков попытались ввести в ее состав всего-то романтика Лилиенкрона, им крепко нагорело тогда за «идеолога прусского юнкерства». Сучков, однако, вскоре после этого умер, и в следующий том антологии попал как раз «фашист» Бенн. Кого только не объявляли у нас фашистами — не только Гамсуна и Паунда, но даже Джойса, даже Жана Жионо. Но система давала сбой: хотя гайки затягивались, нарезка была уже сорвана. Впрочем, если бы германистикой и по сей день ведали у нас борисы сучковы и львы гинзбурги, никакого Бенна русский читатель сейчас в руках бы не держал.

Книгу переводов Бенна невозможно сделать по заказу, нужны хотя бы два десятилетия проб и ошибок, притом коллективных. В 1983 году в сборнике

«Из современной поэзии ФРГ» появилось с полсотни переводов Бенна, затем в 1987 году в других антологиях добавилось еще несколько десятков. В 1990 году состоялось упомянутое выше знакомство с «ранним» Бенном, прошла подборка в «Иностранной литературе». И вот — книга. Должен предупредить заранее: отбор стихотворений в этой книге тенденциозен. Здесь — Бенн-лирик, Бенн-философ. Бенн-экспрессионист, Бенн-венеролог будет в академически полном издании.

Переводчики знают: в гениальность иноязычного поэта читатели на слово не поверят. Если хоть малая часть ее сохранилась в наших русских версиях — значит, не зря старались.

Е. В.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Мне остается только добавить, что переводы сделаны по изданию: Gottfried Benn. Gesammelte Werke in acht Bänden. Hrsg. von D. Wellershoff. Wiesbaden. Bd 1, 1960. Bd 2, 1968. *Разделение стихотворений по хронологическим разделам осуществлено самим Бенном. Я позволил себе вставить в книгу лишь несколько стихотворений, которые не были включены автором в прижизненное собрание.*

А. П.

Стихотворения 1912 — 1920

ПОЗДНЕЕ «Я»

I

Взгляни, взгляни: волна левкоев
не застит взора в этот раз.
Себя — собой — побеспокоив
в столь поздний час.

Последних роз, последних истин
июля — бегство и распад.
И я — желанно независтен
когтистым скальпелям менад.

II

В начале был потоп. Ковчег был плосок.
Лемуры, лоси, падшая звезда.
Предыстребленья слабый подголосок,
ступил Господь сюда.

Орлы когорт и голуби Голгофы
сюда слетали с вышины.
Цветы пустыни, города Европы,
аллеи пальм, Ваала злые сны.

Восточной грохот, мраморные въезды,
Лизиппова упряжка, Римский путь,
над алтарем, омытым кровью, звезды —
и моря тяжко дышащая грудь.

Отбросы. Вакханалии. Авгуры.
Пляс. Непотребство. Пьяная заря.
В начале был потоп. И лишь лемуры
вели ковчег в последние моря.

III

Душа в отметинах распада,
тебя чуть-чуть, но чересчур,
покуда прах чрезмерно черен,
покуда страх чрезмерно вздорен
и непокорен твой прищур.

Раскалены в подземном царстве скалы,
весь Тартар в олеандровом цвету:
пронзает веки и сквозит во рту —
и счастьем светят мертвые оскалы.

Сочится каучук. Волны́
достанет — смыть созданья инков
и тени древних поединков.
Лишь тени старые стройны.

Что ж, Авель с Каином — не братья,
а Господу — не сыновья?
Детерминируем проклятья —
замкнем на позднем «Я».

* * *

О ночь! поможет кокаин
пресуществленью вялой крови.
Года идут ордой седин.
Я наготове! наготове
расцвесть — и мрак! — на миг один.

О ночь! всего-то и хочу —
смешной сумятицы сонтья,
тумана, темени, укрытья
туда, где тяжесть по плечу.

Мне крови грезится состав.
Туда-сюда — и запашочки
в словесно-влажной оболочке,
в трясине черепа застряв.

Летят с земли и наземь глыбы.
Весь мир как тир, где бьют навскид.
Гоняются за тенью рыбы,
и мозг крылами шелестит.

О ночь! о череда годин!
О неужели не позволишь
не наслажденья, а всего лишь
расцвесть — и мрак! — на миг один!

О ночь! о дай чело и стать,
прерви линялое дневное
кровоструенье водяное,
велев царем — и вакхом! — стать.

Но чу!... здесь за ковром скребутся,
за мной шпионят сонмы звезд,
и двойниками полн погост,
и небеса ли содрогнутся?

СИНТЕЗ

Притихший дом. Глухая ночь.
Но я — звезда — умнее прочих.
Я — ночь в себе, я — долгий прочерк,
и луч, и сжечь себя не прочь.

Зайти за ум, вернуться в мозг
очком небес, дерьмом святош.
Так женщину стирает в лоск
все то, чем онанизм хорош.

Мой хрип — мой гроб. Мой мир — разбой.
Я ночью — дик, я в счастье — гол!
Ни смерть, ни прах вонючий мой
не бросят «Я» на этот стол.

Стихотворения 1922 — 1936

ХМЕЛЬНОЙ ПРИЛИВ

Приливом смут, —
хмель это, trance, иль сон, —
о Абсолют,
снова я унесен,
им только жив,
пусть дорогой ценой
глубинный миф
достался душе хмельной.

Ночь — снова бред,
звезд разметавшихся жар,
так, словно нет
смерти без этих чар;
время — в мгновенье
сжимается, в Первокрик,
в сверхсовмещенье
всего со всем в этот миг.

И вот ты один,
ночь пережив ночей,
горечь вин
жертвуешь в храм ничей,
жалобы ветра,
голый, пустынный вид, —
снова Деметра
спускается вниз, в Аид,

к тебе, к скелету —
снова, тоску избыв,
велит она лету

цвести — голубой залив,
венец повторенья:
вечный недуг, доднесь —
образ творенья,
жить помогающий здесь,

в море мучений;
устали смотреть глаза,
к устью течений
упорно ведет слеза, —
покуда хмельной прилив,
trance между сном и сном,
не двинется, гору накрыв,
библейский наперсток — сукном.

VALSE TRISTE

На смену битвам и схваткам,
после гроз и после побед,
изнеженностью, упадком
новый тянется след.
Великая сцена у Нила:
что́ фараонов трон,
если рабыня пленила
героя, кем держится он!

Щиты, пращи, каменья,
эллинский дозор.
Уносит ладью теченье
вдаль, на морской простор.
Белым богам Парфенона
кощунство грозит искони.
Прослыли во время оно
декадансом они.

Сколько пробоин и трещин!
Хмель не для мертвых тел.
Веком веку завещан
великий чужой удел.
Танец из вымершей дали,
из храмов, из руин.
Потомки и предки пропали:
никого! Ты один...

Танец при северных скалах, —
Valse triste! Танец мечты —
Valse triste! В звуках усталых
человек! Ты!
Розы в полном цветенье,
В море впадают цветá.
Дышат глубоко тени,
ночь голубым залита.

Там, где все реже и реже
кровоточит волшебство,
на мировом побережье
тождество всех и всего.
Сначала в стихах заклинали,
в мраморе, в красках картин,
музыкою поминали...
Никого! Он один!

Никого! Ниже, ниже
в терновом венце чело.
С гвоздиными язвами ближе
бессмертье к тебе подошло.
Складки твоей плащаницы,
уксус — тебе питье,
чтобы потом из гробницы
воскресенье твое.

НОЧЬ

Ночь. Без края и крова —
алчная. Dernier cri
Ничтожного и Пустого,
ио цельного кроя виутрн
Сумерки. Тучи. Гиганты.
Света сполóхи. А то —
бешеные корибанты
апофеозом Ннчто.

В затвердевающей тверди
разбушевалась вода:
вечно о том же, о смерти,
и Ниобея — всегда;
смутное что вспоминая,
веки иад миром смежи:
море — фиалка ночиая! —
суши цветут миражн.

Комья сарматских просторов,
сани чумные, конвой
с трупами, время ли сборов,
с Доиа ли волчий вой,
вскрылись ли вещиие воды,
всплыть ли остаикам пора:
рыбы двуиогой породы —
вымыта ливием нкра.

Звезды глазастые чутки.
Ждите! На Страшиый Суд
сфииктеры и желудки
вас как-нибудь занесут.
Выгорел наполовину
факел судьбы и потух —
хищио грызет пуповину
вечиая ночь повнтух.

Ах! позабыть про эоны!
Спать! чтоб летейский эфир...
В маковых зарослях стоны —
дышит забывшийся мир,
из Ахеронтовых далей
гимн орфических нот:
трутнем проспать без печали —
бездна блаженных темнот.

* * *

Но кто же ты, коль скоро
миф кончился? В былом —
герои, Троя, оры,
и, пьяный, напролом

шел бог, лежал в канаве,
кровь ягод — сладкий сок,
мужская доблесть в славе,
так лавр горит, высок,

и тирс, и под ногами
разбитый торс, и хлев,
и умереть с богами,
взаправду захмелев, —

все ныне мох бесстрастный,
все камень, плющ один,
как вечный символ ясно
играющих глубин,

полутеней, мечтаний,
в бесформенной возне. —
Улисс в конце скитаний:
и здесь — и как во сне.

* * *

Видишь — морем полны н светом
звездные невода;
песии пастушьн при этом
движутся, — а куда?
И ты — исполиись терпеньем,
путь — издревле ничей;
спустись по немым ступеням
за вестникамн ночей.

Миф исчерпан, и слово,
а потому — иди,
но пантеоиа нного
да не узришь ты впереди;
не сделай к Евфрату ни шагу,
туда, где трон и алтарь,
в темень хмельную влагу
лей, мнрмидонский царь!

Заране часы известны
страдаиия, слез; и вот
цветение в погреб тесный
к ночному вину придет;
эоны текут бестревожно,
почтн не видать берегов, —
дай вестникам все, что можно:
корону, грезу, богов.

* * *

Сроки, рекн, мутные потокн,
свод каких-то гибельных небес,
в нензбежной дымке, в поволоке,
в той нмперии, которой след исчез.

Где с холмов спадают лоскутами
потускневшие леса,
рвы, наполненные львами,
мраморных карьеров чудеса,

где скала стоит, смиряя страсти,
под лишайником, венцом дорог,
разрешением от всех напастей —
разрушенья рок.

В застарелом самоотреченье
пряча лик метаморфоз,
пить рассвет и ручейка теченье,
светлых слез,

темных знаков над туманной бездной,
влажные глаза целуя те,
что, сверкнув, летят вслед ночи звездной,
чуждых звезд на чуждой высоте, —

и в немом открывшемся просторе
свет империи, которой след исчез,
солнце Диадохов в мутном море,
свод каких-то гибельных небес.

РЕГРЕСС

Нет, не в тебе, не в оболочке
любви, не в детских жилах та
живая тьма, что в некой точке
ни власть, ни слово, ни мечта.

Богов ли блажь, зверей кривлянье,
Творец ли, маклер, я и ты —
лом, катафалк, глаз прорастанье
из раковин, из пустоты.

Но вдруг светает, н порою
на море колорит — коралл,
боясь рассвет назвать дырою,
ты соино пялишься в провал:

и там, в тумане, переправа,
стнгийский мак, и спать опять,
слеза, таласса, Боже правый, —
движеине колосса вспять.

* * *

Твоим ресницам шлю дремоту
и поцелуй твоим губам,
а ночь мою, мою заботу,
мою мечту несу я сам.

В твонх чертах мои печали,
любовь моя в твоих чертах,
и лншь со мною, как вначале,
ночь, пустота, смертельный страх.

Слаба ты для такого гнета.
Ты пропадешь в моей судьбе.
Мне ночь для моего полета,
а поцелуй н сон — тебе.

ПОДСНЕЖНИК

Подснежник: и содрогнешься.
Где ничего еще нет,
лепечешь, венчиком гнешься,
но вера в тебе и свет.

Где нет ничего, на лютой
земле, где сила в чести,
какой бессловесной смутой
посеян, из чьей горсти?

Подснежник: и содрогнешься.
Но вера в тебе и свет.
И летом, когда загнешься,
тебя уже тоже нет.

* * *

Ты в августе так одинок.
Пора свершений: над полями
багряно-золотое пламя,
но ликовать твой сад не смог.

Блестят озера, мягкий свет
дарует небо сжатым нивам,
в твоем же царстве несчастливом
и признака победы нет.

Где счастьем все упоено,
вином и предосенней страстью,
ты духу и противосчастью,
обоим служишь заодно.

* * *

Сквозь ужас мгновенья,
сквозь слова гранит —
рана творенья
кровоточит,

землю питая,
пытая ее,
капля густая —
в сердце твое.

Всему свое время,
добро или зло —
что скифу — стремя,
то гунну — седло,

не вопрошая,
не в силах понять,
ноша большая —
под небом стоять,

и все-таки рано!
Преданья рассвет —
новая рана,
большего нет.

Поле бледнеет,
пастух, житво —
символом веет,
пей же его.

Лазурь — эфемерность,
лик — без примет,
вера и верность —
большего нет —

царствам, юдоли,
тщете земли:
в символы, что ли,
символам ли.

Ветер предаиья,
рассветы сует,
хмель и молчаньe —
большего нет.

* * *

Белеет где-то парус,
и ты уже летишь,
волиа — какой там ярус,
и парус — что ои, бишь?

Кеитавра, полубога,
ие ведавшего мук,
мир — засветло в дорогу —
и дым, и жертвы тук.

Зарывшись в волиы иосом,
в века — до тошиоты,
ты все охоч к вопросам?
да кто же ты?

Когда порвались шкоты,
все дыбом, все вверх диом,
хотя б в постели, кто ты?
существованье в чем?

И все ж, сквозь слезы, едкий
вдыхая дым, лети,
так чувствовали предки,
ииого не иайти.

Не подкрепясь, угрюмый,
ни хлебом, ни вином,
терпи, терпи и думай —
нет бытия в ином.

С Востока шлет красоты
белеющий поток;
и с Запада высоты
придут в свой срок.

Не спи, невольник слуха,
о дне ином моля —
Сошествием Духа
покажется земля.

* * *

Снится, снится — зарево и блестки,
преходящего безликий миг,
длится, длится — в грозном отголоске
даль пространств, где захлебнулся крик.

Сроки, сроки — образа кильватер,
первосущности последний вздох,
перекаты, тропики, экватор,
пепел, шепот и стигийский мох.

Тем, кто мертв — в искрящемся далече —
снится, снится — зажжены вдогон
свечи, свет — летучий проблеск речи:
голос теплится: Она и Он.

Даль пространств — разбилось, разлетелось,
только голос и не видно глаз:
«Ах, когда бы ночь любовью тлелась,
будь со мною, как в последний раз!»

Раз, лишь раз! — всего лишь фразы, фразы —
там, где всякий захлебнулся взор:
даль пространств — всего лишь газы, газы
галактических льдяных озер.

Жизнь! ау! повсюду мрак озерный.
На других, незримых берегах —
ни огня, ни света — страх покорный,
молчаливый, вездесущий страх.

Черный челн, там чели неторопливый,
в щель сочащиеся ил и грязь.
Грязь: заржав, взлетает ржавой гривой,
по губам стесненных жертв змеясь.

Длится, длится, длится срок заклятья.
Сроки, сроки — и последний миг.
Снится, снится — жаркие объятья,
даль Ничто, глотающая их.

* * *

Заплачь — и канешь с нею:
ведь смысл любви таков,
что, гибельный, темнее
неведомых богов.

Не убежать от горя,
любовь умрет с тобой:
о, без цветов и моря
мучительный прибой.

И в низком, и в высоком
забыться — тоже дар,
последним стать потоком
и поздний срезать жар.

Без форм метаморфозы,
но медлишь вне оков —
все только прах и слезы
неведомых богов.

ЛЮБОВЬ

Любишь — и звезды встали
над поцелуем в кольцо,
море — эрос далей
плещет, ночь плещет в лицо,
вкруг изголовья сте́ны
строит, себе верна,
Анадиомены
вечная раковина.

Любишь — и, всхлипнув, плачет
ночь натяженьем струн,
что для вечности значит
пара погасших лун,
если пристать ковчегу
негде, и Арарат
берегу и ночлегу
был бы, пожалуй, рад.

Любишь — и слышишь слово,
дальше передаешь;
и хороводы — снова
ветром взметенная дрожь,
так, меняясь местами
с временем и огнем,
смотришь, как мечется пламя,
видишь, как мечешься в нем.

ДНИ-ПЕРВЕНЦЫ

Дии-первеицы, осеииие восходы
иад морем, там, где холод голубой,
свет иад богатством вызревшей природы,
всё с т а р о е заполиивший собой,
избыток далей, толп людскнх нзлншек,
далекий рог и песия тростника,
мелодия среди ольховых шишек —
ты человечна, смертна н легка.

Дни-первенцы, осеиине раздолья,
как жадио в детстве ждешь такого дня,
днн Руфи, сбора колосков у всполья,
когда уже очнщеиа стерия —
ах, да пойму ли, чем я иынче занят,
ах, что так властно явлеио вблнзн, —
и даже астры запахом дурманят
сквозь голубые планкн жалюзн.

Предел, нль переходиая преграда,
иль океаи, иль боги этих дней:
иа чреслах — розы, гроздья винограда;
возврат древнейшей из земиых теией.
Дии-первеицы, к осеииему простору
н к с т а р о м у — низводят благодать,
плоды падут, восстаиут теии: впору
все то, что есть, грядущему отдать.

* * *

День, завершающий лето,
знаменье сердцу: пора!
весть пыланья и света,
ре́ки, игра серебра.

Образы меркнут, тают,
вне времени уже.
Воды еще блистают
на дальнем рубеже.

Ты созерцал сраженье,
сечу и бегство, пока
не изменилось движенье:
прочь уходят войска;

Сникли за краем склона
розы, воинов злость,
пламя, стрелы, знамена, —
Невозвращаемость.

ЦЕЛОЕ

В разброде часть была, в слезах столетий,
сначала — только проблеск в темноте.
И если сердце билось в годы эти,
какие вихри были в годы те?

Почти всегда один, всегда в печали,
в глубинах суть попробуй рассмотри!
И на бегу потоки вырастали,
и внешний мир был виден изнутри.

И недруг твой, и твой доброжелатель
отдельные восприняли черты.
Не разрушитель и не созидатель —
располагаешь целым только ты.

Сперва казалось: цели ждать недолго,
еще яснее вера будет впредь.
Но целое пришло веленьем долга,
и каменея, должен ты смотреть:

Ни блеска, ни сиянья снаружи,
чтоб напоследок броситься в глаза.
Гологоловый гад в кровавой луже,
и на реснице у него слеза.

Стихотворения 1937 — 1947

ПЯТОЕ СТОЛЕТИЕ

I

«Аттический лекиф: на белом фоне,
живое царству грезы приобща,
миф о Плутоне и о Персефоне
среди сплетений мирта и плюща.

Ветвь кипариса — над привычной дверцей,
где столько роз в минувшем доцвело.
Венок из белых чабрецов и сверций
в последний раз возложен на чело.

Вкусите. Воскурите и возлейте.
Гробницу скроет лиственный навес.
Пусть о Цикладах долго плакать флейте,
а мне — идти туда, где ждет Гадес».

II

Оливы серебристые в долине,
магнолии — безмерной белизны,
цветут, как мрамор, в чуть заметный иней
молчанием судьбы погружены.

Поля пожухлы, овцы исхудалы,
никак Деметре Кору не найти,
но есть Элевсис, — там чернеют скалы,
там двух богинь скрещаются пути.

И ты идешь, причастен общей вере,
в процессии, встречающей рассвет,
горишь, — неполноправный жрец мистерий, —
в себя вбирая кровь минувших лет.

III

О, Левка, белый остров твой, Ахилл!
Далекий зов пеанов монотонных!
Здесь тишину, застывшую в колоннах,
одни тревожат взмахи влажных крыл.

Приплыв, уснешь под пологом небес,
и он приходит, ничего не ждущий,
махнет рукой из кипарисной пущи:
в священной роще властвует Гадес.

Плыви, пока не опустилась мгла!
Лишь голуби слетаются к Елене;
не слушай, нет, того, что шепчут тени:
«Да, яблоко, парисова стрела. . .»

САДЫ И НОЧИ

Сады и ночи — в глубоком
хмеле древнейших вод,
проглоченные потоком
артериальных темнот;
дыханье зонного ложа
равнинной, влажной страны
встает, печаль уничтожа
последней, пустой луны.

Лепестковым, розовым слоем
мир от сознанья закрыт:
пусть достанется он героям,
тем, кто спасает и мстит —
Зигфриду, Хагену; сонно
вспомни: всего лишь одна
капля крови дракона —
и смерть сразит колдуна.

Ночь антрацитных пиний,
полный пустот ярем,
влажных магнолий, глициний
развратный гарем,
бесстыдно трудятся оры,
ворохами — цветы, трава.
Усыпают подарки Флоры
шкуру немейского льва.

Древний, влажный, огромный
наклоняется лик;
видишь: за пустошью темной —
луг и родник;
мысли, дела — все короче.
Лишние речи — долой.
Только сады и ночи
сохраняют образ былой.

СЛОВО

За словом — фраза: тайных связей
внезапный смысл прорежет тьму,
и солнце в загустевшем газе,
круглясь, подобится ему.

За словом — блеск, полет, сиянье,
взрыв пламени и звездный шов,
и снова — мрак, и вновь — зиянье
вкруг «Я» пустующих миров.

ПОТЕРЯННОЕ «Я»

Потерянное «Я», заложник атмосферы,
заряженных частиц дымящийся алтарь,
ты — агнец, жертва, жар гамма-лучей — химеры,
глядящей с Notre Dame в давно пустую гарь.

Без снега, без листвы — какие там рассветы! —
течет сквозь пальцы год, и бесконечность пир
затеяла в тебе: скользят предметы
в неуловимый мир.

Где будешь ты, где ныне, где пределы
твоих приобретений и потерь:
все шутки вечности, что улизнуть посмела
сквозь кристаллической решетки дверь.

На взгляд сих бестий: звезды? что там — клизмы!
сильнейший выживет! — вот их припев.
Глотает страшный зев: народы, катаклизмы, —
размыслившись, отяжелев.

Развоплощенный мир. Все, что ткалось и пелось,
и время, и пространство, и порыв,
лишь график вечности. Какая смелость —
поверить в миф!

Откуда и куда — ни ночь тебе, ни утро,
ни реквием, ни Вакха торжество.
Заимствовать? — но что? совет какой-то мудрый?
и у кого?

О Боге вспомните — начните только! —
кто пастырь, кто овца, мир делится опять, —
очередной надрез, очередная долька,
и раны не унять,

все, очищаясь, пьют из этой чаши,
всем нужен хлеб, хлебнули бытия. —
О запредельный час, вобравший крохи наши:
потерянные «Я».

СНАЧАЛА И ПОТОМ

Сначала — слава,
величье, прыть,
итог — кровавый,
и нечем — крыть.

Сначала — грозы,
и хмель, и рок,
потом — вопросы:
и ты бы смог?

Водили за нос,
смеясь в усы:
Domini canes —
Господни Псы.

* * *

В твоих чертах — илота участь,
от всех сокрытая стезя.
Тебе, в ком стих родится, мучась,
открыться никому нельзя.

Традиций власть иль голос крови
не свяжет узами тебя.
Себя найдешь ты только в слове,
и сострадая, и скорбя.

На все допросы и дознанья
о зреющих в тебе плодах
взираешь сфинксом отрицанья
с печатью тайны на устах.

ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД

Так, воспаривши над потоком,
и поздний подводя итог,
умей окинуть зорким оком
и устье дней, и их исток.

Ожить — внезапно каменея —
течению наперекор,
и видеть сразу — кольца змея
и матовый на них узор:

там светлый день и звезды ночи,
трон золотой, усталый люд,
и молча открывает очи
далекий мир: сады цветут.

Последний взгляд: не вдруг, не смея,
теченью наперекор,
то в рок, то в сумрак — кольца змея,
зловещий движется узор.

Познание? — но и в высоком
нет сил, чтоб возвестить итог:
и, воспаривший над потоком,
ты в тот же падаешь поток.

* * *

Станет ли жизнь печальней:
камень, бетон, стекло,
стол в столовой, лежанка в спальне —
что, тяжело?

Такого ли оборота
ждал ты в судьбе?
Что заградили ворота
лично тебе?

Пройдут ли страданья даром?
Дашь ли ответ
за слитый единым пожаром
факельный свет?

Вечера на скамейке сада,
где, дыханье тая,
дождаться, быть может, надо
прекращения бытия:

все разом исчезнуть может,
с собою расстанешься ты —
каждая капля множит
тоску тесноты.

Но что бы ни означали
горечь и сгинувший сон —
помнишь ли ты о печали,
данной тебе как закон?

О ДАЙ!

О, эти губы, к ним бы
припасть, ведь ты — канун,
ты — святки, свечки, нимбы,
улыбочки Фортун!

Покуда веер сложен,
и полный кубок ждет,
и свет еще возможен,
и страстью дышит рот.

О дай — пока, запретный,
мир снова равен «Я»,
став — трепетный, ответный, —
возвратом бытия.

Разлуки нет, едины
мысль и дела в конце,
ты — Оксфорд и Афины
в единственном лице;

пространство не таится,
и мы не взаперти, —
все длится мир, все снится,
о дай мне, о, свети!

ЛЕТОМ

Лучн голубнзну вот-вот расплавят,
но этому случнться не дано.
Неужто ннкогда тебя не давнт
тот факт, что ты н мир не суть одно?

Ты, отвечавший эрам и эонам
всегда стнхом, всегда дрожаньем уст —
«О, как ты слаб — по собственным законам...»,
«О, как ты светел — потому что пуст...»

Ннчтожества, урвав клочок от лавра,
своих заслуг прнкидывают вес:
ты, жалкое подобне кентавра,
что смыслншь в тяжкой синеве небес?

* * *

«Кто вечным возвращеньем пьян —
сквозь бренные прорвется дамбы,
чтоб вндеть, как кружатся Пан,
аллея сфннксов, днфнрамбы.

Не умерли былые божества!
Лоза нлн ягненок — нм довольно,
грехн отпущены, н жнть не больно,
все шепчет море, все шумнт лнства.

Умрет лншь тот поверх скользящнй глаз,
которому не положнть предела.
Ах, что за дело: музыка лнлась? —
но все, что было, в нас цвело н пело.

Кто в колесо влюблен, не фарисей,
не за себя боится, за сиротство
здесь-бытия, — тот взят природой всей,
молчащий бог в круговороте сходства».

ПРОЩАНИЕ

Я полн тобою, словно кровью рана,
ты, прибывая, бьешь через края,
как полночь, ты становишься пространна,
луга дневные тьмою напоя,
ты — тяжкое цветенье розы каждой,
ты — старости осадок и отстой,
ты — пресыщенье утоленной жаждой,
что слишком долго пробыла мечтой.

Решив, что мир — клубок причуды вздорной,
что он не твой, а значит, и ничей,
не в силах слиться с жизнью иллюзорной,
с неумолимой властью мелочей,
глядишь в себя, туда, где мгла слепая,
где гаснет всякий знак, любой вопрос —
и молча ты решаешься, вступая
в тоску, и в ночь, и в запах поздних роз.

Не можешь вспомнить — было так иль эдак?
что памятно? что встречено впервой?
Взялись откуда — спросишь напоследок —
твои слова и отсвет горний твой?
Мои слова, моя былая участь,
мои слова — да, все пошло на слом, —
кто это пережил — живи, не мучась,
и более не думай о былом.

Последний день: края небес в пожарах,
бежит вода, все дальше цель твоя,
высокий свет сквозит в деревьях старых,
лишь самого себя в тенях двоя;
плоды, колосья — все отныне мнимо,
ничто уже не важно в этот час;
лишь свет струится и живет — помимо
воспоминаний, — вот и весь рассказ.

Стихотворения 1949—1955

РОЗЫ

Когда угасают розы,
им облететь суждено,
и лепестки и слезы
падают заодно.

Сон о повторном начале,
сон о продленье минут,
сон — до накала печали —
прочь лепестки метут.

Чаянье воскресенья,
хмель несбыточных грез,
хмель — до молчанья, паденья —
в час угасания роз.

ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания, — цвета и звуки
ночного моря, и туман, и бриз, —
последних снов сплетающихся руки,
последний образ над тобой завис:

Ступени мраморные и громада
мелодии, и замок, и прибой,
и сто вступает скрипок — серенада,
но этот голос, влажный, голубой —

Не сто их было. — Был один-едииый
смычок, одии ныряющий в тумаи —
игра в Ничто, — сои голубиный,
последиий образ: Bleu mourant.

* * *

Существуешь ли ты?
Позабыто начало,
середину — промчало,
дальше — край темиоты.

Зачем стремиться к экстазу,
зачем ликовать гурьбой,
виимать заморскому джазу,
если вечер ии разу
ие остался с тобой?

Преодоленье испуга,
рывок, достижеиье вершин,
или просто — часы досуга,
плоскость гончариого круга,
глииа, — быть может, кувшин?

В глиие да будет сразу
тебе предвидеть даио —
кувшии ли, уриу ли, вазу,
розу, масло, вино.

* * *

Когда вдруг отчаянье —
ты, знавший в жизни минуты взлетов,
шедший уверенным шагом,
ты, способный одарить себя многим:
восторгом, рассветом, внезапным порывом —
когда вдруг отчаянье —
даже если оно
гибель несет и тленье из непостижимой бездны —
когда вдруг отчаянье
овладевает тобой,

вспомни о тех, чья жизнь была тщетной,
о тех, оставшихся в воспоминаниях
нежной жилкою на виске, внутрь себя обращенным
взором,
о тех, кто оставил нам мало надежды,
но кто, как и ты, любил цветы,
о тех, кто с бледной улыбкой
тайны души обращал
к невысоким своим небесам,
что должны были вскоре погаснуть.

* * *

«Распалось на звуки звучанье,
из хаоса — на словеса,
из крика, из первомолчанья —
на прошлые голоса.

Был первый: страданья ада,
второй: рыданья планет,
и третий: просить не надо
Бога по имени Нет.

И первый был дик: напиться,
дурман ли, вино ли, муть —
забыть, забыть, позабыться,
обманываться, обмануть.

Другой был: как смыслом скупы
миры, не видать ни зги —
плывут то цветы, то трупы,
стервятника в небе круги.

Еще был: упасть во мраке —
нет сил, чтобы слышать злость
кровавой собачьей драки
за лучшую в мире кость.

Когда они все отзвучали,
четвертый голос предрек:
в молчанье, в величье, в печали
кончается человек.

Он знает: просить не надо
богов неизвестных планет,
прошел он кругами ада
к Богу по имени Нет.

В пространствах распада, разбоя
и расовых войн, обречен,
мир катится сам собою
в первоначальный сон.»

* * *

Клади белила на лицо погуще,
прищурясь, будь неузнан и незрим,
старайся все, что лишь тебе присуще,
под маску скрыть, под непрозрачный грим.

В ночи, под непрерывным звездопадом,
бредя садами в сторону зари,
никак не выдай, ни слезой, ни взглядом,
того, что скрыто у тебя внутри.

Таи свой жребий, горький и тяжелый,
следи, чтоб всем казалось до конца,
что всюду тишь, — лишь ветер от гондолы
доносит песню дальнего гребца.

СИНИЙ ЧАС

1

Я в синий час вступаю, в темно-синий,
и внутрь гляжу — и там, из темноты,
тень алых губ на бархатной гардине
и поздних роз тяжелой вазой — ты!

Мы знаем оба: разговоры,
размененные нами на других,
сейчас — ничто, не к месту и не впору,
ведь это первый и последний миг.

Столь далеко зашедшее молчанье
оденет все покровом немоты.
Час без надежды, время без страданья,
и этих роз тяжелой вазой — ты.

2

Твой век прошел, засеребрились косы,
но снова подбираются к губам
все страсти мира, как слепые осы,
к минувшему взывая по ночам.

Ты так бела, как будто и не стало
тебя, едва нахлынул снегопад,
смертельно-бледных роз последние кораллы,
как раны, на губах твоих горят.

Ты так мягка, как падшая гордыня,
как счастье опасений и потерь,
и синий час — последний, темно-синий, —
пройдет — и ты тому, что был, не верь.

3

Я говорю: «Принадлежа другому,
зачем ты даришь поздние цветы?»
Но мне в ответ: «Ах, время — это омут,
мы все погибли — он, и я, и ты.

Минувшее утрачивает цену,
теряют смысл давнишних клятв слова,
цепь замкнута, молчанье отреченно,
и ниоткуда смотрит синева».

РЕШЕТКИ

Молчишь, за решеткой ионной —
за каменной стеной,
ты спас себя, выжил, смущенный —
к о г о спас, какой ценой?

Три тополя, арка шлюза,
чайку уносит шквал —
вот музыка сфер, вот узы,
которые ты порвал,

и сбрасывал шкуру, кожу,
веками — хватало сил,
другой, на тебя похожий,
добычу тебе приносил,

другой — помолчи! — плеткой
эта музыка жжет у рта:
спасен, за ионной решеткой —
и дверь навсегда заперта.

МЕЛОДИИ

Да, звук один — и приступ малокровья,
и вопрошавший, побледнев, затих,
и облака встают у изголовья,
и океан шумит у ног твоих.

То антилопы в тропиках торопкий
легчайший бег, то барабанов гул,
то отрешенной страсти голос робкий,
то — в оторопь, то ветерок подул.

На тектонических глубинных плитах
глубинный сдвиг назрел давно —
пять континентов знаменитых
идут на дно.

И ты — ничто в кристально чистом мире,
где нет случайностей, и в срок — лучист —
Сибелиус, песнь финская в эфире:
Valse triste.

Минорные аккорды, con sordino,
спокойных глаз спокойный взор,
от Палавана до Портофино
архипелага нового узор.

Да, звук один — и бесконечность, мнимость,
и сущностей до-мировых обман:
Valse triste, Valse gaie, Valse Неосуществимость —
текущие в туманный океан.

* * *

Есть обреченность некая, знакомый
с такой тоской — живет уже одним:
не золото руна влечет из дому,
а тот туман, который перед ним.

То счастье ли сомнительного толка,
то цепкое ль Ничто, когда не жаль
всего, что отвлекает ненадолго
от гибели. Не музыка — а Волга
по радио: чужбина, степи, даль.

Есть обреченность — не вздыхать до гроба —
но верный способ увидать богов,
и ты, любовь, о, как бедны вы оба,
шарманщики глухонемых дворов.

НЕЛЕГКО

Не зная английского,
услышать об отличном английском детективе,
которого нет на немецком.

Смотреть на пиво в жару,
когда нет ни гроша в кармане.

Вынашивать мысль, которую невозможно
облечь в гёльдерлиновский стих,
как это делают мэтры.

Ночью в открытом море слышать, как ухают волны,
и уверять себя, что это обычное их занятье.

Еще хуже: собираться в гости, зная,
что дома комнаты тише,
кофе лучше
и тебе не нужны разговоры.

Но хуже всего:
умирать не летом,
когда столько света вокруг
и лопате земля легка.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Не действнтельность кому-то снится,
нет ее, и не было: флейтист
экзистенцию нз ннтуицнй
вывел, на руку оставшись чист.

Не Олнмпию н не анатом
иапнсал, кто написал всех нас,
цепкнй trапсе, цепных мелоднй атом,
сам в себе сняя, ие угас.

Он, прнкованиый к галере темной,
в чреве трюма не видал ни звезд,
нн воды, нн чаек: сон огромный,
сон во весь его гнгантскнй рост.

Было страшно — и катился нолнк,
было тяжко — воздвнгал Pietà.
Это он поставнл чайиый столнк,
н по чашкам разлита — тщета.

ПРОЩАЙ

— С Богом, легкая, беглая: струиы,
крылья расправь — летн!
воздух — темные руиы,
где имя твое иайти?

До упаду броднть по саду,
созерцая разор,
с плачем лебедя иету сладу
в тростинках прнтнхших озер.

— Прощай, друг, иабиравший в ладошку
слезы, боль твоя позвала,
смысл утраты — еще иемиожко
в глубииу, что дала и взяла.

ДНИ ОСЕНИ

Дии осеии, по всем приметам,
впускают в кровь твою росткн:
пора коичать расчеты с летом,
смести с дорожек лепесткн;

фонарь китайский иа террасе
успел потухиуть и облезть,
и мысли о последием часе,
задребезжа, виушает жесть, —

строфа, оборваииая немо,
листва, летящая, шурша...
Ты, мягкнх рычагов система,
ответствуй, где твоя душа?

* * *

Что Ои оставил слабым — бесподобио:
смеются львы и распевает змей,
живущне в расселине загробиой,
где ты покаяться еще сумей.

Что Ои оставил слабым — озаренье
иа краткий миг, и ие видать ни згн,
а то, что видишь — миого выше зренья,
седой туман и серые кругн.

Что Он, и день и ночь переиначa,
оставил нам — единственно и тут
непонято, но есть лишь область плача,
а власть и счастье — знанья не дают.

Что Он тебе оставил — не в конверте —
снежинок рой, мираж в твоей глуши,
что Он тебе оставил — после смерти —
стеклянный кокон вкруг твоей души.

ДОМОЙ

Когда в беспамятстве зимой,
в снегу, в ночи, Бог весть откуда
плетешься, — как тебе ни худо,
дойти пытаешься домой,

туда, где, не смыкая глаз,
лежишь обычно целыми ночами,
цитатами напичкан и речами,
что по себе дневной оставил час, —

однако знаешь — тем же прожил дед,
и тем же проживешь и ты, и дети, —
не думаешь ли ты, что все на свете
не что иное, как первичный бред?

ШУМАН

Как сталось, как вылилось, мчится
с каких же небес вояжер,
где теплится, где он лучится,
щемящий твой фа мажор?

В светающей ль полости полой,
где нечему сниться давно,
иль ночью, огромной, тяжелой,
где нет ничего все равно?

В часы ли ничтожности, малости,
в минуты ль счастливых слез
от Жизни-Желания-Жалости,
но только доныне всерьез:

Всегда, Никогда и Когда-то —
сюда высылают дозор,
и радио включишь: соната,
щемящий твой фа мажор.

* * *

Безвестной ночью, что была
смешеньем сырости, дождя, тумана,
в глухой дыре, что так мала,
никем не знаема и безымянна,

я видел вздорность всех любовных мук,
взаимосвязь желанья и разлуки,
актерство, театральщину вокруг,
нечистые, загребистые руки;

они тебя хватают, ловят, гладят,
остаиовить пытаясь, рукн этн,
и иеумело, тщетно петлн ладят,
чтоб зачнинть разорванные сетн.

Ах, этот холод, этот полог серый,
отрыв от прочности, от вериых троп,
от стойкости, сердечиости и веры.
О Боже! Боги! Стужа, дождь, озноб.

* * *

Мие встречались люди, которые,
изывая свою фамилию, произиосили ее так робко,
точно им н в голову ие могло прийтн
представиться как-нибудь по-ииому —
«фройляйи Кристиаи», а затем
добавлялн: «как имя Кристиаи»,
этим, должно быть, желая облегчить мое положеиие:
не трудная, мол, фамилия, ие «Попиоль» нлн
«Бабендерерде»,
«как имя» — не утруждайте, пожалуйста, память!

Мие встречалнсь люди, которые
выросталн
в одиой комнате с родителями, братьями, сестрами,
занимались на кухие,
заткиув ушн пальцамн,
выходили в люди, стаиовилнсь краснвыми
настоящимн леди с осаикой графиинь,
душевио мягкими и работящими, как Навснкая,
с лицами светлыми, как у ангелов.
Я часто спрашивал себя — и ие иаходил ответа:
где истоки той мягкости, той доброты?
Не зиаю этого по сей деиь, н вот уж пора
прощаться.

ДВА СНА

Два сна было. Первый, Боже,
спросил: что лицо ее?
что шепчут, на что похоже,
губы? Мороз по коже.
Всхлипы. Туман. Забытье.

Второй был понятнее вроде:
клевером, розой был, —
нежный, каких в природе
нет, — из каких мелодий
раковиной приплыл?

Третьего сна не надо.
Третий — печалью горя,
раковиною лада,
раковину — из сада —
в иные унес моря.

ИТОГ

В пивной, где я, нагой, опустошенный,
не раз, как в лоне матери родной,
спасался, — как-то полночью бессонной
возник хмельной пропойца предо мной.

Мужчина в космах, с возбужденной миной,
К партнеру весь пригнулся сколько мог;
размякшие от грога и полынной,
они стремятся подвести итог.

Ах да, итог, пусть в мелочах, чья мнимость
разбухла в алкоголе; здесь приют
свершений, здесь последняя решимость.
Друзья — как на ладони: пьют и пьют.

Сперва напоминая гладь морскую,
но в глубине кишит несметный зверь,
кривые рыла, слизни, — не рискую
ни объяснять, ни длить рассказ теперь.

РЯБИНА

Рябина — не зардевшаяся, нет,
еще не та, еще не обещая
предсмертный жар, горячку, осень, бред.

Рябина — не от горького стыда
зардевшаяся, нет, но возвещая
часы прощания, и всем прощая:
и никогда, и больше никогда.

Рябина — да: пример, как умереть,
зардевшись чуть и тлея понемногу,
вдруг вспыхнуть и гореть, склоняясь к Богу, —
ну где еще так вспыхнуть и гореть?

* * *

Всю суть твою, что присягнула крови,
прастарой, словно общности людской,
я знал, но онемев безвольно, внове
подхвачен, как во сне, твоей рекой.

К Вратам Игры доплыл я по теченью:
так слепы кости, кубки так темны! —
к словам последним, сладостным, к забвенью
того, что это ныне только сны.

Исчезнут поколенья и твердыни,
Адамов род, теснивший зверя вспять,
воители и боги, — пусть отныне
они лишь сны, — всё повторись опять!

* * *

Они ведь тоже люди, говорю я себе,
видя, как кельнер подходит к столу —
к тому, что в углу за ширмой,
где, должно быть, сидят завсегдатаи, —
они ведь тоже способны чувствовать, наслаждаться,
способны любить и страдать.

Не одного ведь тебя
одолевают тревоги, сомненья,
и у них — свои страхи, свои опасения,
пусть по другому поводу,
например, при заключении сделок —
свойственное всем людям
проявляется даже здесь!

Беспредельна горечь сердец,
все на свете сердца наполняет она,
но случалось ли им любить —
не в постели, —
сгорая, точно в пустыне, от жажды
по сладкому нёбному соку любимого рта,
погибать от несоединимости душ?
Об этом нам знать не дано —
можно, впрочем, спросить у кельнера,
который стоит у кассы, пробивая чеки на пиво,
уповая на выручку, чтоб утолить
совсем иную, свою, но столь же глубокую жажду.

* * *

Розы, бог знает откуда такие прекрасные,
город
в сияньи зеленых небес,
в скоротечности дней.

С какой тоской вспоминаешь время,
когда марка и тридцать пфеннигов
были вопросом жизни.
Да, мне приходилось их пересчитывать,
свои дни подчинять им,
какое там дни — недели на хлебе со сливовым
джемом
из глиняного горшочка, привезенного из деревни,
на котором был отсвет бедности родного
далекого дома. —
как горестно было все, как трепетно и прекрасно!

Что блеск европейских авгуров,
знаменитых имен,
кавалеров «Pour le mérite»,
блюдущих себя,
предающихся творчеству как ни в чем не бывало!

Ах, прекрасно лишь то, что проходит,
былая бедность, все то, что бродит в нас смутно
и, не распознав себя,
в отчаяньи тащится за пособием.
Удивителен этот Аид,
прибирающий все: и авгуров,
и то, что в нас бродит смутно,
никто не заплачет,
никто не скажет — я так одинок!

TRISTESSE

Не только над лугами асфоделей
блуждают тени прошлого: взгляни —
на грани сна и яви, у постели,
порою появляются они.

Так что такое плоть? Шипы и розы.
Так что такое грудь? Атлас, парча.
Как ослабела власть метаморфозы,
воспламенявшей бёдра и плеча!

Былое: слишком ранние подруги.
Еще былое: память старика.
Вернется все, как водится, на круги,
любовного не слушай шепотка.

И вот — ноябрь; печальная погода,
отшельничество боли и судьбы,
лишь холод неба, лишь печаль ухода,
лишь кипарисов черные столбы.

ЭПИЛОГ 1949

I

Приливы: разбились о скалы!
предсмертная синева,
бескровная бледность коралла —
безжизненны острова.

Приливы хмельные, чужие! —
печаль ни твоя, ни моя,
хотя б удержи миражи я
молчащего бытия.

Приливы, пожары, виденья,
и над пеплом склоняешься ты:
«Жизнь — это мостов наведенье
над мощным потоком тщеты».

II

Молчание — могила,
ночная тьма — стена,
что дом твой обступила,
где мучался ты без сна.

Пророчества так ярки,
иль все пришло потом:
«Где пряли судьбу твою Парки, —
сквозной проем.

Из этого кувшина
ты вылит до конца,
там липнет паутина
к черепкам лица».

И рифма повторится,
и стих затихнет сам,
и камень в даль струится,
к туманным седым мирам.

III

Будь камень над могилой, дрожь простора
иль крест над тесными вратами будь:
все только песнь, последний возглас хора:
«Созвездия благоприятны — в путь!»

Судьба несет тебя иль час азарта, —
ее ль несет, тебя ль уносит с ней...
всё бабочки — о, начиная с марта! —
еще на много дней.

Последний канет мотылек в пространства,
последний взгляд, последний вздох — и муть
на зеркале, но — хора постоянство:
«Созвездия благоприятны — в путь!»

IV

И это сад (я вижу, ходят тени)
за Одером, к востоку (я вхожу) —
могила, мост, и из кустов сирени
в голубизну щемящую гляжу.

И это мальчик (как мне жаль то лето!),
он к тростникам спускался и к воде.
Сначала счастьем называлась Лета
и лишь потом — забвением в Нигде.

И это буквы на плите надгробной,
все — от тебя, и ничего — взамен, —
и жизнь покажется холстинной пробной:
«tu sais» — «ты знаешь»: остальное — тлен.

V

То многое, что прячешь ты в глубинах,
несешь в себе сквозь медленные дни,
что не откроешь ни в словах невинных,
ни в письмах, — да не письма же одни, —

полусвятое, скверное, немое,
тот выстраданный мир, ту блажь, ту дрожь —
там разрешишь, где кончилось земное,
где умираешь ты и где встаешь.

ПРОБЛЕМЫ ЛИРИКИ*

(фрагменты доклада, прочитанного 21 августа 1951 года в Марбургском университете)

...Современное стихотворение представляет проблемы времени, искусства и внутренних основ нашего существования в более радикальном и сжатом виде, нежели роман или даже пьеса. Стихотворение — всегда вопрос о «Я», и на этот вопрос наперебой отвечают все сфинксы и статуи Санса. Но мне хотелось бы избежать глубокомыслия и остаться на эмпирическом уровне. Поэтому я спрашиваю: из чего складывается для нас поэзия именно сегодня? А вот из чего: слово, форма, рифма, длинно стихотворение или коротко, к кому обращено, область смыслов, выбор темы, метафорика. Знаете ли вы, откуда я взял весь этот ряд понятий? Из американской анкеты для поэтов — в США пытаются анкетами поддержать и поэзию тоже. Мне кажется это любопытным — значит, американских коллег волнуют те же проблемы, что и нас. Вот, к примеру, проблема длины стихотворения. О ней размышлял еще Эдгар По, а позже Элиот, и это очень субъективный вопрос. Но больше меня заинтересовал другой пункт из анкеты: к кому стихотворение обращено. Здесь, может быть, самый критический момент, и Ричард Уилбур дает замечательный ответ. Стихотворение, говорит он, формально обращено к Музе, но это делается только для того, чтобы скрыть тот факт, что на самом деле оно не обращено ни к кому. Отсюда следует, что и по ту сторону океана стихотворение вос-

* Перевод осуществлен по изданию: Gottfried Benn. Essays. Reden. Vorträge. Gesammelte Werke in vier Bänden. Bd 1. Dritte Auflage. Limes Verlag. Hrsg. von Dieter Wellershoff. Wiesbaden, 1965.

принимается как монолог — поистине занятие для анахорета...

...Мне кажется, вы уже вполне созрели для того, чтобы спросить, что же, собственно, представляет собой современное стихотворение и как оно выглядит. Однако ответить я могу только от противного, а именно, сказать, каким современное стихотворение быть не должно.

Я поставлю диагноз и назову четыре симптома, которые помогут вам понять, соответствует ли своему времени стихотворение, написанное около 1950 года. Умышленно буду опираться на хрестоматийные примеры.

Вот эти четыре симптома:

во-первых, «воспевание» («Andichtung» — А. П.) Пример: стихотворение под названием «Жнивье». Первая строфа:

«Ein kahles Feld vor meinem Fenster liegt
jungst haben sich dort schwere Weizenähren
im Sommerwinde hin — und hergewiegt
vom Ausfall heute sich die Spatzen nähren*

Еще три строфы в том же духе, и вот в четвертой и последней появляется обращение к собственному «Я»:

«Schwebt mir nicht hier mein eigenes Leben vor...**
и т. д.

Здесь мы имеем дело с двумя объектами. Сначала описывается — и воспевается! — безлюдная природа, а в конце автор обращается к самому себе, оказы-

---

* «Перед моим окном лежит голое поле, еще недавно там качались на летнем ветру пшеничные колосья, а сегодня, тем что упало наземь, кормятся воробьи».

** «Не такой ли видится мне и моя жизнь?»

ваясь как бы внутри нее или полагая, что там находится. Итак, в стихотворении имеет место противопоставление воспеваемого предмета и воспевающего «Я» на фоне элементов пейзажа внешнего и внутреннего мира. И я утверждаю, что такое стихотворение сегодня примитивно. Это слишком просто — документировать свою лирическую сущность. Такая метода сегодня уже устарела, даже если автор отвергает чеканную формулу Маринетти «détruire le Je dans la littérature» (уничтожить «Я» в литературе). Правда, следует признать, что в немецкой поэзии есть много великолепных стихотворений, построенных по этой схеме, например, «Лунная ночь» Эйхендорфа*. Но оно было написано больше ста лет назад.

Второй симптом — слово «как». Обратите внимание, сколь часто в одном стихотворении встречается это слово. «Как», или «как будто», что значит «как если бы» — все эти вспомогательные конструкции работают большей частью вхолостую. «Песнь моя льется, как золото солнца»; «солнце на медной крыше, как бронзовое украшение»; «песнь моя трепещет, как укрощенный поток»; «как цветок тихой ночью»; «бледная, как повилика»; «любовь, как лилия, цветет»... Это «как» всегда трещина в поэтическом видении мира, оно притягивает сравнение за уши, оно не первично, не изначально («primär» — А. П.). Но и здесь я вынужден заметить, что существует немало замечательных стихотворений, в которых это сакраментальное слово присутствует. Великим «Поэтом-Как» («Wie-Dichter» — А. П.) был Рильке. В его прекраснейшем стихотворении «Архаический торс Аполлона» слово «как» в четырех строфах появляется трижды и всякий раз в самом

* Стихотворение Эйхендорфа написано в 1830 году.

банальном смысле: «как канделябр», «как шкура хищника», «как звезда». А в «Голубой гортензии» — в четырех строфах четыре «как», в том числе: «как на детском переднике», «как на старой голубой почтовой бумаге» — что ж, Рильке умел. Но вы можете взять за правило: слово «как» в поэзии всегда диверсия прозы, пересказа, снятие речевого напряжения, провал созидающего замысла метаморфозы.

Третий симптом более невинен. Посмотрите, как часто в стихотворении встречается цвет. Красный, пурпурный, опаловый, серебряный или серебристый, коричневый, зеленый, оранжевый, серый, золотой — упоминая их, автор, вероятно, полагает, что купается в роскошных россыпях своей фантазии, и не замечает при этом, что все цветовые эпитеты — чистой воды клише, которыми с большей выгодой воспользовался бы оптик или окулист. Правда, и здесь я должен сделать оговорку: все это не имеет отношения к голубому цвету.

Четвертый симптом — «серафический тон» («der seraphische Ton» — А. П.). Когда стихотворец, забыв о целокупности (Kugelründung» — А. П.), о пресуществлении («Vollbringung» — А. П.), вдруг ни с того ни с сего заводит речь о журчании родника, арфах, чудной ночи и победно устремляется душой к звездам, к сотворению новых божеств и тому подобному Все-Чувствию, то в большинстве случаев это дешевая спекуляция, рассчитанная на сентиментальность и доверчивость читателя. Большой поэт всегда реалист и очень тесно соприкасается со всеми сторонами действительности — он взваливает ее на плечи, он очень приземлен, он — цикада, которую, по преданию, рождает земля. Такое афинское насекомое. Все эзотерическое и «серафическое» он переносит на твердую реалистическую почву чрезвычайно осторожно и недоверчиво. Обратите

вниманне в этой связи на словечко «steilen»*, в нем уже есть ощущенне, что кто-то хочет взлететь и не может.

Итак, отныне, когда вам попадется какое-нибудь стихотворенне, возьмите в руки карандаш и выпишите, как для кроссворда: «воспеванне», «как», «цветовые эпнтеты», «серафнмы» — и очень скоро сами сможете судить н решать.

Позволено ли мне будет вставить еще одно замечанне: лирика категорнчески не прнемлет посредственности. Поле действня лирики чрезвычайно узконаправлено, выразнтельные средства — тончайшне н делнкатнейшие, ее суть — ens realissimum** сутн. Отсюда н завышенность критернев. Посредственные романы не столь невыносимы, они могут быть занятны, служнть развлеченнем, прнчем иногда даже поучительным, могут держать нас в напряженин. Но лирнка нли должна быть единственной в своем роде, или ее не должно быть совсем. Такова специфнка ее существования.

Эта особенность лирнкн подразумевает трагнческнй опыт поэта, направленный на самого себя: никто даже из самых великих лириков нашего времени не оставнл больше шести-восьми законченных совершенных стнхотворений. Все прочие, помимо этих шести-восьми, могут быть интересны с точки зрения биографнческой или в качестве черновиков. Но покоящнхся в себе, из себя светящнхся («Faszination» — А. П.) совсем немного — н ради этнх шести стихотворений поэт влачнт от тридцати до пятидесяти лет лишений, страданий, борьбы.

Теперь я постараюсь описать процесс более непосредственно, чем он происходит. Речь пойдет о процессе возникновения стихотворения. Чем располагает поэт? . . . Он располагает:

* Поэтизм: круто подниматься вверх.
** реальная суть (лат.).

во-первых, темным созидающим началом («schöpferischer Keim» — А. П.) — некоей психической материей;

во-вторых, словами. Они — его подручный материал, они — в его полном распоряжении, и он может делать с ними все, что захочет, и приводить в движение по своему усмотрению. Каждый поэт знает свои слова. Существует нечто, позволяющее соотнести определенное сочетание слов с конкретным автором...

в-третьих, нитью Ариадны, которая выводит его из пространства между полюсами, где накапливается мощное напряжение. Поэт уверен — и тут, пожалуй, самое загадочное, — что стихотворение уже готово, прежде чем начато. Он не знает только текста. Но текст не может звучать иначе, чем это готовое стихотворение, и когда это совпадение происходит, ошибиться уже нельзя, хотя, естественно, могут пройти недели и даже годы, пока вы не выпустите его из рук. Снова и снова вы ощупываете его со всех сторон в поисках единственного слова, изымаете вторую строфу и рассматриваете ее отдельно, спрашиваете себя, действительно ли третья строфа превратилась в missing link* между второй и четвертой. И так вы продвигаетесь вперед, постоянно рефлексируя и проверяя себя, пытаясь разглядеть целое изнутри — школьный пример союза свободы и необходимости, как говорил Шиллер. Можно сказать и так: стихотворение — корабль феаков, который, по словам Гомера, без кормчего зайдет в любую гавань...

...Взятая изолированно, форма — труднейшее из понятий. Но форма, собственно, и есть стихотворение. Содержание его — то, что мы зовем печалью, страхом, устремлением к концу — доступно каждому. Это об-

* недостающее звено (англ.).

щечеловеческое достояние. Каждый в большей или меньшей степени обладает утонченным чувством меры, но поэзия начинается только там, где появляется форма, делающая содержание автохтонным, несущая его в себе и при помощи слов творящая свою магию. Отдельной формы, «формы в себе» не существует вовсе. Она — само бытие, экзистенциальное задание художника, конечная его цель. Так истолковывается выражение Эмиля Штайгера «форма — это наивысшее содержание»...

...Я упоминал уже, что автор располагает темным созидающим началом, материей психического. Выражаясь иначе, это тот «Gegenstand*, из чего должно получитьс я стихотворение. Одни говорят, что Gegenstand — только средство для достижения цели, которой является стихотворение, другие — что стихотворение ничего не должно иметь в виду, кроме самого себя. Третьи — что стихотворение ничего не выражает, что оно понстине «есть»... У Гофмансталя ... я нашел весьма категоричное высказывание: «Из поэзии в жизнь нет прямой дороги, а из жизни в поэзию — вообще никакой», и это означает одно: поэзия, а точнее, стихотворение, автономно, оно живет для себя самого, что подтверждается другой формулой Гофмансталя: «Слова — это все». Но еще более знаменитым стало высказывание Малларме: стихотворение возникает не из чувств, а из слов ...

...В природе есть краски и звуки, но слов нет. У Гете читаем: «Из растиральщиков красок вышли отличные художники». А вот причастность слову первична, этому нельзя научиться. Чему угодно — плясать на канате, спать на гвоздях — но расставлять

* Чрезвычайно труднопереводимое на русский язык понятие. Обозначает одновременно объект, предмет и сюжет.

слова так, чтобы они завораживали, или дано, или нет. Слово — фаллос духа, укорененный в центре мироздания. При этом укорененный «национально». «Вненационально» все — картины, статуи, симфонии, сонаты — но только не стихи. Отсюда можно даже вывести определение стихотворения: это нечто непереводимое. Восприятие прорастает внутрь слов, трансцендентирует в слова. Что значат буквы сами по себе? Ничто. Непостижимое. Восприятие соединено с ними под определенным углом, оно звучит в их сердцевине, и буквы, сталкиваясь друг с другом, звуками и переживаниями отзываются в нашем восприятии ... Слово «nevermore» с двумя короткими закрытыми слогами и темным растекающимся «-more», в котором звучит и «das Moor»* и «la mort»**, это так далеко от немецкого «nimmermehr». «Nevermore» лучше. Слова значат больше, чем весть или смысл; с одной стороны, они — Дух, а с другой — реально, предметно существуют и так же двусмысленны и многозначны, как явления природы ...

---

* болото (нем.).
** смерть (франц.).

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения 1937—1947

Стихотворения 1949—1955

